

Иерусалим сходил с ума. Впервые за три тысячи лет своего непростого существования он подвергался не осаде, не разграблению, а выходил на кулачный бой, причем по всем гуманным правилам боксерского искусства, в кожаных десятиунцовых перчатках. И не против палестинцев, сирийцев или прочих ливанцев, а против немцев. Да-да, немцев из Западной Германии, детей и внуков солдат Вермахта, от чьих рук у многих нынешних израильтян погибли родные и близкие из старших поколений.

Когда-то я писал, что был самым счастливым еврейским мальчиком в Риге. У меня, рожденного в апреле 1945 года, остались после войны в живых и родители, и оба дедушки, обе бабушки. Такого везения евреи моего поколения не ведали не только в Риге, но повсеместно — в Польше, Чехословакии, Украине, России, Латвии, Литве, Белоруссии, во всех тех местах, где осуществлялось «окончательное решение еврейского вопроса». Разумеется, и в Израиле, куда негласно, а потом законным путем прибывали мои соплеменники. И вот сейчас, когда по всему городу расклеены плакаты о предолимпийском матче по боксу между сборными Иерусалима и Западного Берлина, они уже заранее обсуждали ход поединков и строили прогнозы на Московскую олимпиаду — 1980.

— Как ты считаешь,— спрашивал меня Марк Зайчик, спортивный комментатор радио «Голос Израиля», с кем я изредка, хотя он и «тяж», боксировал в спарринге «на технику». — У нас есть шансы побить немцев?

— Ринг покажет,— уклончиво отвечал я.

— Но все же... Кто у нас есть в Иерусалиме сейчас? Ты... И?

— Я и открываю турнир. Работаю в первой паре.

— А остальные?

— Остальные из Тель-Авива.

— Немцы знают об этой хитрости?

— У них тоже в принципе сборная Западной Германии. Это для видимости говорится «Иерусалим — Берлин», чтобы сгладить национальный момент. На самом деле, расклад такой: евреи против немцев. Причем, в руках одинаковое оружие. Перчатки, Марк! И тут мы еще посмотрим, кто кому вмажет, когда они не с автоматами на нас, безоружных...

— В прежние времена весь клан братьев Люксембург составил бы вам компанию. Но все трое уже по возрасту не подходят, ушли в тренеры.

— Я тоже не мальчик. Мне 34.

— Ты в форме...

— Ясное дело, для меня это последний шанс.

— Предельный возраст для любителей,— напомнил спортивный комментатор.

— Но не для профессионалов, Марк! Прорвусь на Олимпиаду, а там посмотрим.

— Смотри сейчас...

Намек Марка я понял с полуоборота. Все бои с местными боксерами и приехавшими из-за границы за путевкой на Олимпиаду я заканчивал с «явным» уже в первом раунде, за минуту-полторы. Тренеров занимало: как я буду выглядеть на международном ринге, когда придется выкладываться все три раунда. Хватит ли дыхалки и выносливости? Не потеряют ли убойной резкости мои кулаки? Все же по их версии я — «старик».

В отличие от них, «стариком» себя я на ринге не чувствовал. Во мне еще копилось с десяток неистраченных боксерских лет. Глядишь, при благоприятном раскладе на Московской Олимпиаде, еще и в профессионалы вырвусь. Появятся хоть какие призовые деньги. А то ведь не на что жить. Стипендия на курсах иврита — не зарплата. К тому же, впереди прибавление семейства, и хоть устраивайся на завод слесарем — по прежней специальности. Правда, и слесарем меня пока что никуда не брали.

— Оформим вас слесарем,— разъясняли мне в отделе кадров завода «Тельрад» на полузабытом русском,— а материально вознаграждать надо, как инженера со стажем. В два раза больше придется платить, чем обычному слесарю. И ради чего? За ту же самую работу.

— Почему? — недоумевал я.— Слесарь и слесарь.

— А университетское образование?

— Не учитывайте!

— Так нельзя. Бухгалтерия не пропустит.

Вот я и оставался, как перекасти поле: на производство рядовым рабочим не брали, в институт Вингейта на курсы учителей физкультуры не принимали.

Катись туда, катись сюда.

Рассчитывай только на бокс и выбивай победу за победой в своем «пенсионном» для спорта возрасте.

Авось, оскал саблезубого тигра обернется улыбкой удачи.

Эта удача, держащая в боксерской перчатке призовой билет на Олимпиаду, смотрела на меня из синего угла ринга.

Крепыш — немец переминался с ноги на ногу, поглядывал на меня. Не знаю, что ему говорили о сопернике-переростке? Но представить несложно. Установка секунданта перед боем звучала, приблизительно, так: «Он — старик! «Сдохнет» уже во втором раунде. Потаскай его по рингу, и добивай!левой — правой, еще раз правой, как ты умеешь, и он — твой».

Мне секундант ничего не говорил. Возрастная разница между мной и немцем — тринадцать лет. Он чемпион Западной Германии, победитель отборочного турнира в Гамбурге.

Молодость — за него.

Что за мной? Опыт? Нет, опыт при такой возрастной разнице не в счет.

А что в счет?

То, что я еврей, стою на земле Израиля, и в моих руках такое же оружие, как у противника. Вот что!

— Боксеры на центр ринга!

Рефери вызывает нас, и весь зал иерусалимского «Дома молодежи» замирает в ожидании. Мы пожимаем друг другу руки. Я рта не раскрываю: чего говорить, когда слово за рингом? А немец — распогодился, что ли от нашего гостеприимства? — выбрасывает какую-то фразу. С угадываемыми сквозь «шпрыханье» словами «Иерусалим», «Израиль», «юден» — «евреи».

«Юден!»

Это был тот удар, который нанес немец сам себе, в поддыхало, не иначе. Если раньше против него был направлен разве что мой многолетний навык турнирного бойца, то сейчас всем своим существом я рвался показать ему, во что превратили бы во время войны его предков мои предки, будь у них под рукой равноценное оружие.

Мне трудно объяснить, что произошло со мной. Но эта гортанная речь, пусть и приветственная по своему существу, внезапно включила во мне какую-то подспудную энергию наших двужильных праотцев Маккавеев, разгромивших самую мощную армию древнего мира — греческую.

Без всяких подсказок секунданта я уже изначально предвидел, что будет происходить на сером квадрате ринга все три раунда подряд.

Гонг!

Мы сближаемся. По диагонали. Ему четыре шага до центра. Мне четыре шага. Но на четвертом шаге правую ногу я резко ставлю в сторону и, меняя стойку, наношу немцу первый, он и разящий наповал удар.

Нокдаун?

Нокдаун!

Но судья не ведет отсчет секунд, бой не останавливает. И я нанизываю атаку на атаку, тесню противника в его синий угол.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

Как я работал? Описывать подробно не буду: в обычной своей манере, на обходе и упреждении. Визуальная картинка, пусть и не этого поединка, дана Марком Зайчиком в его рассказе «Столичная жизнь», опубликованном в журнале «Студия» № 10 в 2006 году. Вот как он описал в рассказе мою манеру боя, взяв за основу спарринг, который я проводил в Тель-Авиве с лучшим боксером Израиля 1979 года Шломо Ниязовым.

«Он стоял в спарринге с молодым парнем призывного возраста, остриженным наголо. Он был очень пластичен, худые, узловатые руки его летали дугами, сам он порхал кругами, получая от соперника по голове и по корпусу. Они оба не слишком весомо попадали друг по другу, но выглядели убедительно — упрямые, настойчивые бойцы».

Берлинец тоже выглядел упрямым и настойчивым. Но этого мало. В скорости он уступал, да и в арсенале технических приемов я превосходил его.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

У немца пошла кровь из носа. Зеркала души принимают дымчатый отлив. Я «плаваю» в его зрачках. Несомненно, парень в гроги. Но стоит на ногах, держится. И рефери не спешит объявить нокдаун. Он — наш, израильский рефери. Видать по всему, в нем тоже колобродит, не дающая мне покоя фраза: «Мы еще посмотрим кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие».

Гонг!

Минута отдыха. И опять секундант обходится без наставлений и советов. Обмахивает полотенцем и приговаривает:

— Хорошо! Хорошо! Бей! Ты — первый. За тобой вся команда.

Я смотрю на него. И мне вспоминается, как в Риге, когда снимали фильм о Штирлице «Семнадцать мгновений весны», поддатые статисты, облаченные в эсэсовскую форму, «пугнули» в Верманском парке двух сидящих на скамеечке старушек-евреек.

— Юден! — сказал тот, кто повыше.

— Пиф-пах! Шиссен! — нацелил палец тот, кто ниже ростом, с усиками — квадратиком, явно под Гитлера.

Одна старушка чуть не умерла, увидев перед собой ожившего злодея из времен ее покалеченной юности, вторая набросилась на хулигана, расцарапала щеку, сорвала наклеенные усы. То-то было смеха среди праздно шатающейся публики. Мне тогда было не до смеха. И «эсэсовец» с расцарапанной физией сполз на цветочную клумбу, держа в зубах «гонорар» за участие в массовке.

Сегодня без массовки и без отрепетированных заранее сцен.

Бокс, как жизнь, не знает репетиций.

Гонг!

Второй раунд!

И второй раунд, и третий я гонял немца по рингу, вынимая из него душу.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

И с каждой минутой все отчетливее сознавал: нельзя заканчивать бой до срока. Тренеры сборной должны видеть, что я столь же вольно чувствую себя в третьем раунде, как и в первом.

Дыхалка у меня была и впрямь отменная. А уж о волевом импульсе и говорить нечего...

Финальный гул гонга.

Все! Кончено! Теперь от меня ничего не зависит!

Судья-информатор:

— Победа по очкам присуждается Ефиму Гаммеру. Счет один — ноль в пользу Израиля.

Рефери поднял мою руку в черной перчатке, я по традиции кинул голову на грудь и впервые увидел свою бойцовскую майку. Из крахмально белой она превратилась в красную, вишнево-яркую от крови, немецкой крови...

«Мы еще посмотрим — кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие!» — рефреном прозвучала в уме, и я посмотрел в притихший от волнения зал.

На следующий день после встречи на ринге меня пригласили в гостиницу, где остановилась немецкая команда. И недавний противник вручил мне именной, им, чемпионом Западной Германии, подписанный вымпел.

В разговоре выяснилось: его отец был в советском плену, жил в лагере под Ригой, работал на строительстве, восстанавливал разрушенные дома.

Мне тут вспомнилось, как в раннем детстве, в начале пятидесятых годов, когда я жил в Риге, на улице Аудею, мимо нашего дома гнали колонны пленных. Они разбрасывали завалы камней возле кинотеатра «Айна», там, где на месте прежней, разрушенной бомбой гостиницы была в 1956 году построена новая, названная «Рига».

Выходит, отец «моего» немца был среди тех пленных, у которых мы, приемные дети войны, выменивали за кусок хлеба заграничные марки, монеты, металлические пуговицы с их мышинового цвета шинелей.

Я смотрел на своего противника, не знающего ни слова по-русски, смотрел на его тренера, а по совместительству и переводчика, сносно, хотя и с сильным акцентом говорящего на моем родном языке. Оказалось, и он был в плену. К тому же не где-нибудь, а в Риге, работал на восстановлении местной гостиницы. При упоминании об этом во мне мгновенно мелькнуло: а не у этого седого мужика с перебитым носом и водянистыми глазами я некогда выменял медальон?

«У него! У него!» — мелькнуло в мозгу. И во рту сразу пересохло, будто я снова окунулся в детство. Время тогда было особое — взрывоопасное, как полагали взрослые. Называлось на научном языке: «эпоха холодной войны».

Мы, дети победного 1945-го года, не слишком хорошо разбирались в этой терминологии. Холодная война, горячая, главное — война. И враг определен — «янки дудл», на русском — американцы. Так что порох нужно держать сухим, а палец на спусковом крючке. Для нас это присловье было далеко не пустым звуком. И порох имелся, и спусковой крючок. Но это дикий секрет. Сегодня, за давностью лет, никого не посадят, поэтому докладываю, как на заседании Генерального штаба: 1 марта 1953 года мама послала меня с Ленькой, двоюродным братом, на чердак развешивать белье. Впервые без нее, самостоятельно. Вот мы и порыскали в свое удовольствие по запретной территории, что раньше, под родительским присмотром, не удавалось. И обнаружили в укромном местечке, за брусом, маленький револьвер 1917 года выпуска: без барабана, однозарядный, если говорить по-солдатски. А рядом с ним кожаный ремешок, как от наручных часов, с патронами в круглых ячейках.

Один выстрел произвели сходу, для проверки готовности ствола на случай боевых действий. И убедились — порох сухой, а палец правильно лег на спусковой крючок.

После выстрела немного струхнули: «враг не дремлет», а вдруг кто подслушивает? Но нет, даже соседей не всполошили. И с трофеем спустились в квартиру, на первый этаж, чтобы зажить обычной жизнью: дом-школа, двор-кино, драка-наказание.

Оружие, понятно, ждало в кармане применения, искало — скажу красиво — цели своего существования. У него ясно, какая цель — «стрелять, и никаких гвоздей». А у человека, желающего стать чемпионом мира по детству? Столь же ясная! Совершить подвиг, прославиться наподобие Робин Гуда. Яснец-леденец, не за счет пальбы по воронам.

Но где отыщешь живого бандюка, да еще вооруженного до зубов? На экране? В картине 1924 года «Банда батьки Кныша»? Но там они все уже дохлые!

А шпионов, если верить фильму «Застава в горах» с мировым актером Сергеем Гурзо, всех уже выловили.

Вредителей после смерти Сталина тоже больше не обнаруживалось.

Скукота какая-то! Но недаром поется: «кто ищет — тот всегда найдет».

Впрочем, искать особенно и не приходилось. Мимо нашего дома по булыжной мостовой улицы Аудею ежедневно ранним утром вели под конвоем толпу пленных немцев. Куда? На работу. Восстанавливать то, что разрушили своими бомбами и снарядами. Гостиницу «Рига». До войны она называлась «Рим», была высшего разряда и располагала шикарным винным погребок, который, по слухам, тоже вздумали восстановить.

Немцев охраняли довольно плохо, позволяли нам, мелкоте ветрогонной, подкармливать их. Разумеется, не пирожками с повидлом — черным хлебом, вареной картошкой, кислыми огурцами. Подкармливать не так, чтобы за так, а в обмен на сувениры и всякое разное, пригодное для наших бездонных карманов. У этих фрицев, прошедших всю Европу с грабительским интересом к чужому добру, легко было отovarиться марками, значками, пуговицами с тиснением, монетами неведомого денежного достоинства. Допустим, вычеканена на кругляке цифра 1 или 2, а что это — франк, пфенниг, доллар? — хренушки разберешь. И в магазин не двинешь с подобными деньгами, сразу отведут в милицию.

Марки раскладывали по альбомам. Значки цепляли на лацканы пиджаков, пуговицы, чтобы фраернуться, пришивали к рубашкам. Мечтали заполучить губную гармошку. Но впустую, ибо жизнь давала понять: мечтать не вредно.

Но с того дня, как задумали провести во дворе чемпионат мира по детству, ждали не только даровой гармошки, но и тревожного часа X, когда пленники, по нашим предположениям, набросаются на охранников, завладеют их оружием и... да-да!.. мы двинем на спасение родной Риги от коричневой чумы — фашистов.

Как сказано, порох мы держали сухим, а палец на спусковом крючке. Но немчура не мучила спокойную рябь повседневности каким-либо недовольством, переходящим в бунт, который под позаимствованные из книг крики «хальт! хенде хох!» мы «иско- реним на корню», как пишут в газетах о пьянстве и уличном мордобитии.

Пусть пленников охраняли плохо, они все равно не порывались смотать удочки в родную Германию. Конвоиры были уверены: никуда они не убегут, некуда им бе- жать — кругом, куда не посмотри, на тысячи километров земля наша. Упарятся бе- гать! Потому и стерегли их без окриков, без устрашающих выстрелов в воздух и тем самым не вызвали в заключенных нервного брожения, переходящего, как учили в школе, в неуправляемое волнение масс. У них без неуправляемого волнения, у нас, доморощенных Робин Гудов, без героической схватки с гитлеровцами.

Как сравниться с отцами в освоении суворовской науки побеждать?

Что делать?

Думать, думать, думать, как учил Петьку на уроках стратегии Василий Чапаев.

А кто много думает, тот, наконец, и додумается.

Я додумался.

— Давай выкрадем фрица из колонны, а потом его вернем, как новенького, будто поймали в бегах и в плен взяли!

— Да он, мабуть, в плен сцапанный, когда тебя, Финичка, и в проекте не было, — встревожился мой приятель Эдик по кличке Сумасшедший, не любящий впустую бегать наперегонки.

— Взрослыми сцапанный! А взрослые нам не соперники в чемпионате мира по детству!

— Нам за такое дело дадут по шапке.

— Сначала медаль «За отвагу».

— А кто кормить будет этот лишний для нашей кухни рот? Меня мамка из дома выгонит, если я стиблю чего-то похамкать для недобитой этой посторонней личности.

— Меня не выгонит, — раздумчиво сказал я, помня, что моя просьба — «Мама! Дай мне хлеба с маслом и сахаром!» — признавалась на правах законного требования.

— Ну, если ты согласен кормить лишний рот...

Неопределенное «ну» было воспринято как знак согласия. И меня тут же отряди- ли на проведении операции. В сопровождении Эдика Сумасшедшего — самого чест- ного, по его собственным словам, свидетеля.

Мигом я оказался на этаже своей квартиры.

— Мама! Дай хлеба с маслом и сахаром!

— Один кусочек?

— Четыре!

— Проголодался?

— Ленька тоже кушать хочет. И Борька...

Умело завернул многоэтажный сэндвич в газету, чтобы масло не проступало сквозь бумагу.

— Ты куда? — спросила мама.

— На задание! — и рванул в коридор.

— Но сначала покушай, и далеко не убегай, сегодня день рождения у бабушки Сойбы, будет торт с лимонадом, — неслось мне вдогонку на крыльях материнской любви, пока я распахивал дверь на лестницу.

Во дворе кликнул Эдика Сумасшедшего и вперед-вперед к недостроенной гости- нице «Рига». Швейцара там еще не наблюдалось. Опасаться было некого. Солдат- часовой смотрел на нас совсем не так, как в замочную скважину. Без всякого любо- пытства.

«Шастают тут, шастают,— рассуждал он, будто читая мои мысли.— Подкармливают паразитов. Нет, чтобы угостить советского солдата, который кровь за них проливал».

По возрасту этот солдат кровь еще ни разу не проливал — ни за нас, ни за братьев наших меньших. Папа его, может быть. Папу и угостили бы. А он...

Что с человека возьмешь, когда и ему нечего взять с нас?

Отдали честь по-мальчишески и прошли в холл, а оттуда — это мы уже досконально изучили — направо и вниз, где закладывался бар, получивший от нас в конце шестидесятых прозвище «Подводная лодка». Сбоку от него возводилась кабинка с цифрами 00. Унитаз монтировал пожилой сантехник с утолщенным носом, морщинистым лбом, добродушным лицом. Был он в кепи и потертой шинели мышиного цвета. В прошлый раз я отоварился у него редкой маркой с изображением английской королевы.

Уткнувшись лбом в сидяк, старик подвинчивал болты у основания унитаза гаечным ключом. Повернул голову на скрип двери, снял головной убор и поманил им к себе:

— Киндер? Ком-ком...

— Бутерброд,— сказал я, полагая, что сносно перевел на язык Гете словосочетание «хлеб с маслом» и показал бумажный сверток.

— Гуд-гуд!

Немец поспешно потянулся за угощением и я, не успев отпрянуть, остался с пустыми руками.

— Гуд-гуд! — бормотал сантехник, разворачивая пакет.

Эдик Сумасшедший толкнул меня в бок:

— Хватит уже ему «гудеть». Воткни ствол в ухо и бери в плен!

— А как мы его выведем отсюда? Незамеченными не выйдем,— вдруг проснулась во мне здравая мысль.

Немец, игнорируя наши распри, стянул с ноги короткий сапог с широким голенищем. И — вот так диво! — отвинтил каблук. Хитро придумано: оказалось, он полый, а внутри, в специально вырезанном углублении, припрятан медальон. Был он желтого цвета, должно быть, изготовлен из латуни, с голубым камушком на верхней дверце, которая открывалась при нажатии кнопки и показывала спрятанную на дне миниатюрную фотку. На снимке — женщина в белом подвенечном платье и красивый молодой человек с шапкой вьющихся волос. Усики у жениха — узкие, щеголеватые, как у Раджа Капура в кинофильме «Бродяга», самом любимом у рижских зрителей 1954 года: билетов не достать, а очередь в кассу — хоть стой до завтра.

«Медальон подарю бабушке Сойбе,— осенило меня.— Восемьдесят четыре года — не шутка. Это же надо, как подвезло в день ее рождения!»

И мне расхотелось брать немца в плен. Гораздо сильнее захотелось позаимствовать ювелирное изделие.

— Гиб мир — дай мне,— сказал разом на двух созвучных языках — идиш и немецком, помня, что мама, укладывая детей в кровать, пела «гиб мир а бисиле мазл» — «дай мне немножко счастья». И добавил, культурной воспитанности ради: — Данкешон! — Большое спасибо!

В итоге «бартерной сделки», как написали бы сегодня, я приобрел драгоценное украшение из неизвестного металла в обмен на бутерброд с маслом и сахаром. Свое приобретение я засунул поглубже в карман брюк, чтобы на выходе из гостиницы не отобрал охранник, и поспешил воссоединиться.

«Отличный подарок!» — тихо радовался в уме, позабыв на некоторое время о чемпионате мира по детству.

Бабушка Сойба сидела на табуретке в углу комнаты у тумбочки с радиоприемником, подкручивала ручку настройки громкости и согласно кивала в такт торжественно произносимых диктором слов.

— Фройка, послушай, что говорит умный человек в Москве,— повернулась к мужу, нарезающему острым ножом лучину для растопки плиты, чтобы готовить праздничный ужин.— Говорит: «урожай». И обратно говорит: «рекордный». В одном таки он прав — собрали. Но куда все это увезли? Что мы видим с этого урожая своими глазами, если они не слепые? Только очереди. В магазинах очереди за сахаром, колбасы нет, и сыр пропал с прилавков.

— Ох, казачка! — отвечал дедушка Фройка.— За диктора речи нет, но хватит думать про тех, кто говорит по радио. Им пишут — они говорят. И зарплату получают. Два раза в месяц. Сначала аванс, потом получку. А мы слушаем, развесив уши, и получаем пенсию — всего один раз в месяц.

— Мы эту пенсию видим в полный рост только в кассе, после подписи о получении. А потом, как пойдешь на базар с кошелкой, от нее остаются только слезы.

— Но я все равно, Сойба, купил тебе за эти слезы подарок. Материю купил на платье. Будешь, как новенькая, когда ходили в кафе «Фанкони», на Екатерининской...

— Чтобы потом подышать свежим воздухом с Дюком на Приморском бульваре...

— И одеколон «Шипр» не забыл, тоже купил, чтобы ты пахла, как на свадьбе.

— Гинук! (Хватит! — идиш.) Я тебе не фаршированная рыба, чтобы пахнуть, как было у нас на свадьбе.

— Бабушка — не рыба! — подтвердил я, входя со своим неразлучным другом в комнату.

— К рыбе в гости я ни за что не пришел бы! — сказал, и опять мудро, Эдик Сумасшедший.— Утонуть можно.

Бабушка порылась в фартуке, вытащила металлическую коробку леденцов в сахарной пудре «Монпансье», которая была всегда при ней, и угостила Эдика, угостила меня. Не со своих пальцев, а так, чтобы каждый из нас взял по своему разумению, но без жадности, и не пихал в рот, как суслик, за обе щеки.

— Мы тоже не с пустыми руками,— сказал Эдик.— Финичка вам сварганил подарок, глаз не оторвать. Будет в самый раз по цвету к дедушкиному платью, даже если он белый.

— Не белый! Нержавеющая половинка моя, отнюдь, не невеста,— пошутил потомственный жестянщик и протер прослезившиеся глаза, вспоминая давний день угасающего девятнадцатого века, когда за свадебным столом многочисленные гости кричали новобрачным «горько!».

— Не переживай, дедушка, за бабушку. Подумаешь, не невеста! Невесту я вам свою принес. Вот она — на фотке! — радостно доложил я, будто вернулся с оперативного задания с ворохом добытых военных тайн. И, нажав кнопку, раскрыл перед ним медальон.— Это для бабушки. На день рождения. Самый-самый женский подарок. Восемьдесят четыре года — не шутка.

— И тринадцать общих, слава Богу, детей...

— Ого! — восхищенно цокнул языком Эдик Сумасшедший и толкнул меня локтем в бок, мол, «знай наших!»

Дедушка близоруко сощурился, всматриваясь. И слезы на его глазах стали как-то крупнее, еще крупнее, и покатались по щекам.

— Сойба, смотри! — подозвал жену-старушку, почувствовавшую что-то неладное в его голосе.— Смотри! Смотри! Это же Сонечка...

— Какая Сонечка? — бабушка резко поднялась с табуретки, уронила коробку с конфетами, и полукруглые леденцы раскатились по полу, как заледеневшие слезинки.



— Сонечка Розенфельд, из твоей фамилии, что вышла за этого кузнеца-красавца Кравцова. Твоя племянница из местечка Ялтушкино.

— Но там всех убили,— еще не понимая до конца, что я принес весточку с того света, медленно прошептала бабушка.

Дедушка посмотрел на меня сквозь слезы.

Бабушка посмотрела на меня сквозь слезы.

— Откуда это у тебя?

Я не мог вразумительно ответить, меня тоже душили слезы.

Ответил Эдик Сумасшедший.

— От пленного фрица. Финичка — ему покушать, а тот ему — это...

— Убийца моих родных?

— Я не спрашивал,— Эдик Сумасшедший виновато посмотрел себе под ноги и, пятась, вышел за дверь.

Ближе к вечеру, когда в бабушкиной комнате накрывали на стол, немцев повели под конвоем обратной дорогой: от гостиницы «Рига» на улицу Аудею, и дальше-дальше — к лагерю военнопленных.

Предоставленный сам себе, я сидел у раскрытого окна с взведенным револьвером 1917 года выпуска и высматривал в шаркающей по булыге колонне знакомую физиономию с утолщенным носом и морщинистым лбом. И не находил ее, будто она растворилось в сотне похожих, таких же невыразительных, но отнюдь не опасных на вид лиц.

И в этот момент кончилось мое детство.

Облокотившись на подоконник, я смотрел на бодро шагающих по улице моего детства гитлеровцев. Смотрел и думал о плачущей на кухне в день 84-летия бабушке Сойбе. Она родилась в 1870 году — в семье раввина Розенфельда, и жила в Ялтушкино под одной крышей с братьями и сестрами почти до конца 19 века, пока не вышла замуж и не переехала в Одессу. А ее племянники и племянницы, их дети и внуки никуда не переехали. Крышей их вечного дома стала сырая земля, не сохранившая для потомков ни имен, ни фамилий. Ничего не осталось, только память сердца.

Сырая земля, ни имен, ни фамилий, только память сердца...

Через несколько лет в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» я прочитаю об ужасающих подробностях уничтожения фашистами местечка Ялтушкино, гибели его жителей, а среди них и родственников бабушки Сойбы. А ее родственники... это... и мои близкие...

Илья Эренбург:

«Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они сэкономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

